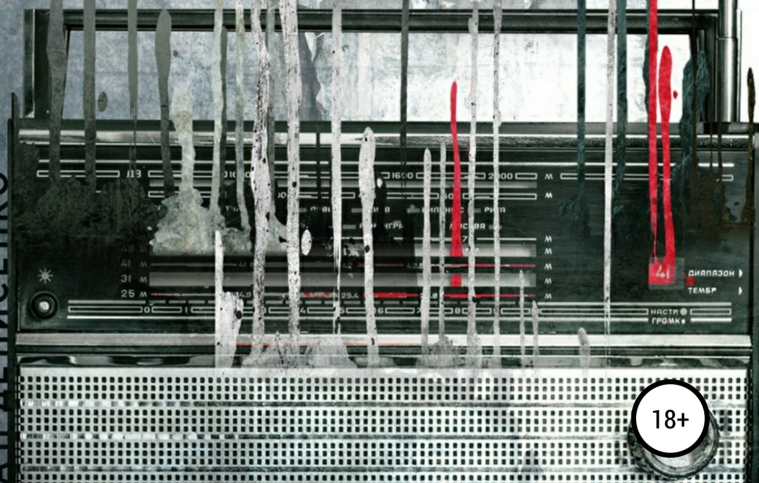


БЕЗЫМЯННАЯ ЧАСТОТА

ИВАН ДЕНИСЕНКО

БЕЗЫМЯННАЯ ЧАСТОТА

ИВАН ДЕНИСЕНКО



18+

Иван Сергеевич Денисенко

Безымянная частота

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=28063025

SelfPub; 2019

Аннотация

Все мы немного радисты. Сидим на своих планетах, переключаем тумблеры, крутим катушки. Ловим импульсы, прилетающие из бездны, и передаём дальше. Безымянная частота – так я условно называю волну, которая идёт через меня. Эта книга – хроника моих дежурств за последние три года, бортовой журнал сигналов, отправленных в разное время дня и ночи, в разную погоду, в разном настроении. Три, две, одна... Эфир!

Нет никаких ещё
и никаких уже,
лучшее, что могу,
я напишу вчера –
вечером поутру, где-то на Иртыше,
там, где плывёт Луна, звонкая, как пчела.

Делаю шаг назад – и обгоняю год,
и предо мной опять яростней, чем набат,
мечется снежный зверь именем ледоход:
«Где ты, мой давний друг именем снегопад?»

Мечется невпопад, руслом едва вмещён.
Бродят слова, блестя, рыбами в глубине:
«Нет никаких уже, нет никаких ещё –
ты у себя спроси, если не веришь мне.

Да и не в том вопрос, сколько лететь, смутив
жаждой своей всех тех, кто оказался близ...
Я намолчу тебе очень простой мотив,
взятый из синевы, ясного неба из».

И наступает ночь, полная тишины.
Бледные фонари, давние времена...
Звуки идут со дна, глухи и тяжелы.

Речка молчит мотив – как же она нема!

Виденное – во мне, слышанное – со мной,
всё это – как цветки между сухих страниц,
где до сих пор звучит что услышал весной:
«Время, не замирай, просто посторонись».

Мимо плывут дома, снами оплетены,
и не сказать – к черте: нету для них черты.
Школа моя плывёт, окна её темны,
классы её пусты, доски её чисты.

Следом проходят сквер, церковь, где был крещён,
тополь на берегу, утренняя звезда...
Всё это – не уже, всё это – не ещё,
всё это – пузырьки в тающей толще льда.

Сколько мне было лет, столько мне будет лет,
то, что приобрету, будет не груз, а в плюс –
всё пригодится там, на берегах планет,
где я проснусь вчера, если потороплюсь.

I. И свет не свет

Я выехал со станции Не Помню

до станции Не Знаю. По пути
я наблюдал бредущую по полю
метель и не ложился до пяти.

Желтели окна в каждом тихом доме,
и чай, извечный спутник всех дорог,
сливался с темнотой и грел ладони
любого, кто проснулся и продрог.

Тянулась долго и ныряла за лес
сплетённая из хлопьев кисея...
Всё было непонятней, чем казалось,
и это понимал не только я.

Мне говорили: вероятно, дело
в двух станциях... Но камнем шёл во тьму
тот разговор, поскольку холодело
любое сердце, близкое к нему.

Я был в хвосте и видел дым и ветер,
пошёл вперёд – наткнулся на замок;
мой громкий стук остался безответен,
а мер других придумать я не мог –

и потому опять следил за вьюгой,
скрывающей пространство, как секрет,

ища который, хоть сто лет аукай –
едва ли будешь встречен и согрет.

Но разгадай его, другим на зависть, –
увидишь путь и в серой пелене...

Всё глубже и сложнее, чем казалось,
что очевидно здесь не только мне.

Я сплю, когда мой поезд неподвижен,
а просыпаясь, вижу: мы пока
в пути. О том, что кто-то где-то вышел,
известно лишь со слов проводника.

От станции Не Помню и, должно быть,
до станции Не Знаю – всё бело.

Лишь паровоз набрасывает копоть
на снег, на мир, на зябкое стекло.

Мир качнётся, заспанно говоря
о пути, дарующем новый опыт –
так начнётся первое января.

Не скажу, что это меня коробит.

Я и сам начнусь, полагаю, так:
с ничего, с раскачки, с кофейных пятен

на плите, с пернатых дневных ватаг,
чей звенящий гомон излишне внятен.

К мизансцене этой я так привык –
проживу её, не взглянув и мельком
на сценарий (рыхлый, как черновик,
но вполне готовый по здешним меркам).

Канет год, и крон его нагота
перейдёт, чернея, рубеж – и, может,
так начнётся новое навсегда.
Не скажу, что это меня тревожит.

Я и сам миную рубеж, а он
только был, и вот уж его не стало –
так на миг является махаон
за окном летящего вдаль состава, –

а окно искрится, как слабый наст,
а вагон то весел, то беспробуден...
Этот краткий миг да пребудет в нас,
как и мы в мгновении сем пребудем –

даже много после, когда, прошед
расстоянье дня, поползём по норам.
Так начнётся старый, как мир, сюжет.

Но для нас, живущих, он будет новым.

Пока и год не год, и не вполне
пригодно всё, что раньше означало
хоть что-то, ибо мир не на волне:
всё обнулилось, всё опять с начала.

И свет не свет, и утром за окном,
плевать на календарь, мороз не крепок,
и мир, как в измерении ином,
один сплошной набросок или слепок.

Но низкий старт на то и низкий старт,
чтоб мчаться, прибавляя по неделе,
куда-то добежать и кем-то стать,
и потому-то все вокруг при деле.

При деле сын, и кошка у окна,
и за окном любой весёлый ландух,
ликующий от грома и огня,
и ночи в распутившихся гирляндах.

Но свет ещё не свет, и год не год,
и мы условны, хоть не безымянны,
в краю, где постоянно каплет (от

того здесь снег имеет статус манны).

На всём лежит печать черновика,
и я серьёзен более для виду,
ведь не могу сказать наверняка,
куда в итоге выйду иль не выйду.

Не скажет сын, и кошка, и за ней
в окне смолчат прохожие и тени.
А если кто и скажет, то верней
всего не то, не так и не по теме.

И здесь, уже найдя в себе ответ,
я нахожу резонным бросить вожжи,
пока и год не год, и свет не свет,
и мы ещё не те, кем станем позже.

4 января 2015 года

Погоды не было негоднее,
в ней жизнь, как мякиш, размокала,
но всё же что-то новогоднее
сквозило, хоть и без накала

в неодолимой этой сырости,
которой делались сугробы,

что успевали за ночь вырасти,
к семи утра раскиснуть чтобы.

Я сам себя из дома выдавил,
привыкнув к бегу и погоне,
и город заново испытывал
мою устойчивость к погоде –

мою и прочих, что, не менее
меня ругая влажный воздух,
обдумывали сновидения,
ведя гулять собак бесхвостых.

И в темноте, где не был Гелиос
давно, быть может, вечность даже,
я шёл и чувствовал, что делаюсь
частицей этой стылой каши.

Озноб стремился под исподнее.
Зима, похожая на призрак,
шептала что-то новогоднее –
и это был первейший признак

того, что время снова замерло –
вполне возможно, что до марта,
и к тучам городское зарево

прилипло намертво, как марка,

и ветер свищет опечаленно
не из желанья состояться,
а для того, чтоб окончательно
не чокнуться от постоянства.

В оконной раме, влипнув в переплёт
ветвей, соединяющихся в лица,
по серой тропке женщина идёт,
и этот миг непостижимо длится.

По анфиладе сумрачных стволов:
берёза, липа, ель, опять берёза...
И новый год, исполнен новых слов,
за ней стремится – но не доберётся.

Повсюду снег, он тёмнен, как весной.
В его нагромождениях набухших
так странен этот пёстрый наносной
осадок серпантина и хлопущек.

И дворик, что в окне моём, и тот,
что за углом, сомкнули веки шторок –
и слушают, как женщина идёт...

И этот миг непостижимо долог.

Впечатанный в тропинку серпантин,
как след свечи, витиевато-восков,
и он, и двор, и вечер – лишь один
из бесконечной череды набросков.

Назавтра я пойду дышать зимой,
и, может, в поле зренья у кого-то
моя прогулка, путь короткий мой,
едва мелькнув, останется, как фото.

И я, бредущий к небу напрямик
по сухотравью, вставшему ершисто,
застыну, инкрустированный в миг,
который никогда не завершится.

Всё слишком быстро, слишком быстро.
Планета кажется непрочной.
В фонарном свете серебриста
вода, не принятая почвой.

Ох, эти стены из картона
и эта мебель из фанеры!
Вокруг меня опять контора.

Я рассыпаюсь на фонемы.

Я рассыпаюсь, просыпаюсь,
когда, как пьяная плясунья,
приходит снова жизнь без пауз
со всеми знаками безумья.

Она не помнит то, что было,
она жуёт без перерыва.
Всё слишком быстро, слишком быстро –
и временами слишком криво.

На этот торт не надо вишен,
чудес, притянутых за уши.
Мир жил и, видишь, как-то выжил,
хотя пространство стало уже.

Мы изучили все повторы,
провал минуя за провалом,
пусть зло из ящика Пандоры
ползёт с азартом небывалым.

Так что ж, удержимся и ныне –
в старинном доме у границы,
где на расколотой лепнине
что ни весна гнездятся птицы.

В забытом доме, где на фоне
разрухи, ссадин и пробоин –
играет солнце на фарфоре,
и розы вьются по обоям.

Пусть даже всё чрезмерно быстро,
и мы, заваленные почтой,
горим – от пахоты, от быта,
от ощущения непрочной

планеты. Призраки распада
смешны, как, впрочем, и адепты,
залегшие в полях у сада,
чьи кроны инеем одеты.

26 февраля 1977 года

*К 40-летию свадьбы моих родителей Сергея и Натальи
Денисенко*

Благословляю день, прошедший до меня,
мелькнувший за окном мгновением нерезким,
где навалился снег на колышки плетня,
на крылья серых крыш, летящих к перелескам.

Благословляю день, случившийся среди
одной из многих зим, и даже вижу вроде,
когда гляжу назад, глубокие следы –
как первые слова на чистом развороте.

Я вижу снегирей на чёрных ветках лип
и солнечных синиц, порхающих у вяза,
и слышу всхлип дверей, далёкий резкий всхлип –
мелодия села, что в памяти увязла.

Мой чёрно-белый сон, цветное синема,
калейдоскоп огней, фрагменты старых фото.
Бродила по земле весёлая зима –
кому-то невтерпёж, прекрасна для кого-то.

И ветер продлевал бредущих силуэт,
и мир был до корней морозами прополот,
и небосвод вбирал, чтоб через много лет
всё это вспоминать, найдя достойный повод.

И холод шёл вослед: какую ни надень
шубейку, а не стой, беги до самой цели...
Благословляю день, холодный зимний день,
случившийся давно и длящийся доселе –

в любом из этих снов, в любой из этих строк,

сопящих из меня, как ярки из закута –
из дальних февралей пробившийся росток,
исток дорог, ещё не пройденных покуда.

Тане

Без тебя и море не море,
и пусты любые аллеи,
и рассветный ветер – в миноре,
и закатный свет тяжелее.

И простор отчаянно узок,
и смертельно тесен местами.
Без тебя любая из музык –
просто знаки на нотном стане.

И несутся дни суматошно,
бесполезно и равнодушно...
Мне никак без тебя не можно,
никогда без тебя не нужно.

Переполнен словами, снами,
обживая в эпохе нишу,
я себя без тебя не знаю,
я себя вне тебя не вижу.

Ощущать бытие всей кожей,
слышать жизнь и пути за нею –
только вместе. Прости, похоже,
без тебя совсем не умею.

Я нашёл тебя так внезапно –
и отчётливо понял вскоре:
без тебя немислимо завтра,
без тебя и море не море –

словно жить ему неохота
в этих серых минутах вязких...

Я нашёл тебя, как находят
тот цветок, что бывает в сказках –

в лабиринтах осенних улиц,
у истока иного мира.

Хорошо, что не разминулись.
Замечательно, что не мимо.

Беззвучно входит в ночь моя лачуга,
накрыла землю ледяная кашаца.

Мне кажется, что лето – это чудо,
а больше ничего уже не кажется.

Не кажется, что снова что-то надо,
что надо лезть из кожи, метя на люди
и в люди, ибо эта буффонада
достала хуже надолбов и наледи.

Что мне осталось, кроме «Авва Отче»,
на панцире очнувшегося оползня?
(Возможно, образ мог бы быть и чётче,
зато никто не скажет, что необразно.)

Смотрю в окно, как в пустоту – из чума,
такая тишь – неловко и прокашляться:
не разбудить бы дремлющее чудо...
Пускай мерцает – и подольше кажется.

Февраль раздёрган. В перспективу вперив
холодный взгляд, верша за взмахом взмах,
за наименьшем времени и перьев
он пишет строчки снегом на домах.

То трудится, то приникает к стёклам –
иные развлечения не даны.
Он заключён до марта в этом блёклом
пространстве о четыре стороны.

И остаётся биться ветром в стену,
ныть сквозняком, тереться о стекло.
Проходит ночь, и день спешит на смену,
но не светло, вовеки не светло.

О, вечное предчувствие антракта,
безвольный снег, игрушечный квартал –
ведь кто-то это создал всё, ведь как-то
придумал, населил и запитал.

И ты вначале веришь зданьям, трубам,
портретам, окнам, лицам, городам,
и лишь позднее станешь чёрствым, грубым,
и прежней жизни не увидишь там –

в той точке, где февраль внезапно замер,
сражённый насовсем и наповал
глухой морзянкой из соседних камер,
чьё нахождение здесь подозревал.

Вы неподвижны и угрюмы – оба.
И всё условно – впрочем, как всегда.
От этого роскошного сугроба –
ещё чуть-чуть – не будет и следа.

Но нынче ночь, и марево, и минус,

и снег искрист, и руку режет наст,
и каждый дом тепло шумит, как примус,
приземист, неподвижен, коренаст.

И ночь, по всем приметам, очень рада –
всё те же здесь, всё там же, всё о том:
и ты стоишь у чёрного квадрата,
и тот, другой, стучится в каждый дом.

Дома, дарованные мне

Хоть переездов было – тьма,
и за привалом шёл привал,
так странно вновь встречать дома,
в которых я квартировал.

Дома с геранью на окне,
с черновиками там и тут,
вдруг повстречавшиеся мне,
на время давшие приют.

Дома, чьи лампочки желты,
а через стены льётся речь,
и все так запросто на ты,
что плюнь и даже не перечь.

Дома, где трудно засыпать

и часто шепчешь: «Сон, ловись»,
когда к полуночи опять
струится скрип из половиц.

Здесь мебель вроде не стара,
но явно близок юбилей –
при колебаниях стола
попробуй кофе не пролей.

И за окном то белый двор,
то с крыш струящийся ручей,
то отравивший всё раствор
не наступающих ночей.

Весёлых кошек кутерьма,
забавный топоток шиншилл...
Мне странно вновь встречать дома,
в которых я когда-то жил.

Их много здесь, и, проходя,
я всякий раз смотрю в окно,
как будто в прошлое, хотя
что было – кануло давно.

О, этот вечный кавардак,
вещей и действий чехарда,

проулки, вымокшие так,
что не просохнут никогда.

Здесь пьесы новые теперь,
играет их другой состав,
в антракте перечень потерь
и обретений пролистав.

А я встречаю вас во сне
и прохожу, не времена,
дома, дарованные мне,
дома, впусившие меня.

В Старой Ладоге

Все канули. Должно быть, потому
мороз такой пронзительный и зоркий
и в крепости, и в церкви, твоему
покрову препорученной, Георгий.

Круговорот старинных дней зачах.
Вторгаясь в этот замерший порядок,
нам остаётся спорить о вещах
(к примеру, о размерах рукояток).

Нам остаются ветошь и дубьё,
берестяное слово и надгробье –

не жизнь, а только отзвуки её,
безмолвный слепок, робкое подобье.

Все канули, и сколько ни зови,
ни хлеба не дождёшься ты, ни соли,
незванный гость, пришедший из зари,
свалившийся, как шапка с антресоли.

Хозяева – давно уже снега,
дожди, цветы, земля, моря с волнами,
с них всякая ответственность снята
за все догадки, сделанные нами.

А нам остался вид, прекрасный вид
из узкого окна на мир, который,
подобно океану, ледовит
и обречён на вечные заторы.

На мир, чей лёд отчаянно бугрист,
а день ползёт без видимой охоты,
и снег заходит в дом, и слабый свист
рождают рамы, двери, дымоходы.

Желтковый свет окрашивает наст,
дыханье нор темнеет над лесами.
Да, эти сны, возможно, не для нас,

но для кого – они не знают сами.

Все канули. И даже те, кто тут,
уже не здесь, а далеко отсюда,
хоть целый город, как труба, продут,
и в креслах пледы, а в шкафах посуда,

и морды лошадиные в овсе.

Шквал времени, сравнимый лишь с цунами,
смывает с нас ответственность за все
догадки, сотворённые не нами.

А вокруг тишина, а вокруг темнота,
а вокруг всё такое же смутное дно,
и в окне расплывается крыша, а та,
что за ней, так и вовсе сплошное пятно.

Точно пепел, со стен осыпаются сны –
день за днём, и во веки, и присно, и ны...

Не вопрос – я умею вставать и идти,
извлекать из конфорок бутоны огня
и в период с без четверти до без пяти
сотню раз прошагать от окна до окна.

Дети спят, и мерцанье идёт изнутри –
ночь за ночью, во веки, и ныне, и при...

Сновидения с нами спускаются вниз –
от ещё не остывших кроватей, пижам –
среди хлопьев, что медленно падают из
облаков, обложивших по всем рубежам.

Это время, игрушка языческих прях,
прогорая, бросает на ветер свой прах.

Фонари. Детский сад. Голоса за стеной.
Мы давно ли отсюда – и снова сюда.
Возле самого рта – капля пасты зубной,
с рукавичек небесная каплет вода.

Выхожу в белый дым: ничего, никого.
В горле стынет: и ныне, и присно, и во...

Веки сомкнуты. Рядом – всё та же черта,
мне её не пройти и на малую пядь.
И опять – тишина, и опять – темнота.
Три минуты – и всё повторится опять.

...В последнюю минуту гаснет свет,

и в темноте, глядящей исподлобья,
такая тишина, что слышен снег,
в полёте собирающийся в хлопья.

Всё замирает в странной немоте,
вся суета, весь бег, все «фу ты, ну ты»,
когда потянет воском и мате –
дыханье ускользающей минуты.

В молчанье померещится ответ,
хоть не было вопроса, но, в тяжёлых
портъерах растворившись, гаснет свет –
и сразу полутьма, и сразу шорох.

В такие миги, сторонясь осанн
и целый мир вбирая подчистую,
я по снежинкам лезу к небесам –
и не во все минуты существую.

В такие миги, временем несом,
уходит день, отчаянно малинов,
и золотист, и радостен, как сон,
как тёплый хлеб, как запах мандаринов.

И я уйду – полями, вдоль реки,
верхом иль пешком, в шапке ли, в венце ли,

успев понять, что всё, что вопреки,
на самом деле приближает к цели.

А цель, она виднее в полутьме,
когда свеча едва-едва погасла,
и жизнь в окне, как жизнь на полотне.
Мне через стёкла слышен запах масла —

и шорох туч, которым не указ
любой людской прогноз — и в торжестве том
не знающих о том, что свет погас,
чтоб через миг иным смениться светом.

На самой дальней из окраин,
где край земли уходит в воду,
в какие игры ни играем,
а всё одно не скрыть зевоту.

И воздух сер, и небо серо,
и некто в глубине загона
безмолвно поглощает сено —
он получил его законно.

Вдоль моря тащатся провидцы,
они несут узлы и чаны.

В одной из северных провинций
случайно всё – и все случайны.

Лишь крики чайчи да камень,
часы прилива и отлива
останутся, когда мы канем,
что, несомненно, справедливо.

Всё время ветер, но провисли
просторы серой мешковиной
над самой дальней из провинций,
как минимум – над половиной.

Что мы умели, что имели,
кто был отвержен, кто в фаворе –
всё забывается по мере
того, как в нас вползает море:

барашки в мелкой хвойной сыпи,
валы, склонившиеся к бунту,
не задержавшиеся в сите
булыжников на входе в бухту.

И чайка выполняет сальто,
и рыба ходит под волнами,
и небо глыбою базальта

навекы замерло над нами.

Какие семена ни высей,
как ни размахивай руками,
в одной из северных провинций
земля рождает только камни.

Но эта влага, запах йода,
чернильные овалы мидий,
и чувство близкого полёта,
и вечер, моросью размытый –

всё это въелось, и навекы
ты полон звонким птичьим граем,
и сосны в море мечут ветки
на самой дальней из окраин.

Пустой бокал на краешке стола.
Проходит кот с вальяжностью туриста.
Пора признать, что ночь уже была –
и до заката вряд ли повторится.

Пора признать, что новое пора
стоит внизу, у самого порога,
оно другое, нежели вчера,

но схожи и манеры, и порода.

Пора признать, что правда – между строк,
а истины вовек не сыщешь в пойле,
и на затишье выделенный срок –
ещё не повод распускать подполье,

сжигать листовки, резать провода,
тем паче при наличии сигнала.
Мы всё ещё не знаем, как, когда,
какая сила нас сюда пригнала.

Трубят отход или кричат «ура» –
нам важно не втянуться в это, дабы
не пропустить тот час, когда пора
понять – не всё, но многое хотя бы.

И мы молчим, и смотрим из окна,
как туча, точно снежный холм, поката,
и ясно, что ночная тишина
едва ли повторится до заката.

На плечи отступающей зимы
ложится свет, как золотая риза.
Зима утешно шепчет, что и мы
однажды, вероятно, повторимся.

И время выправляет стать и путь,
как точное и крепкое зубило,
в надежде, что поймём когда-нибудь,
каким теченьем нас сюда прибило.

**Посвящаю памяти моего деда
Павла Гордеевича Денисенко,
ветерана Великой Отечественной войны...**

Я шёл в метель, приподнимал
холодный воздух, как попону.
Сегодня деда поминал.
Я ничего о нём не помню.

Почти совсем. Ходил с трудом,
сидел подолгу в старом кресле
(я под столом играл), потом –
сплошные «кажется» и «если».

Не зрю деталей среди глубин
той первой памяти нежадной,
но помню: он меня любил,
и это главное, пожалуй.

Оставил ногу на войне,
имел медаль и «Запорожец»
(я помню: едем, а вовне
весь мир сонлив и запорошен).

Ещё обрывки: ясли, плач
и каша манная всё та же,
и под водой темнеет пляж,
и целый мир пятиэтажен.

И дед с дыханьем голубым:
дымит, небритый и поджарый.
Я помню: он меня любил.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.